# Человек, который не мог спать

Карел Чапек

— Раз уж пан Долежал завел речь о расшифровке, — молвил пан Кавка, — то я вспомнил об одной шутке, которую однажды подстроил коллеге Мусилу. Этот самый Мусил — необыкновенно образованный и субтильный человек, этакий тип интеллектуала: во всем он видит проблемы и ищет свою точку зрения на них. У него, например, есть точка зрения и на собственную жену, и живет он не в супружестве, а в проблеме супружества, — кроме того, он решает социальную проблему, половой вопрос, проблему подсознания, проблему воспитания, кризис сегодняшней культуры и целый ряд других проблем. Люди, которые всюду находят проблемы, столь же невыносимы, как и те, у кого есть принципы. Я не люблю проблем, для меня яйцо есть яйцо, и если кто начнет говорить о проблеме яйца, то я подумаю, что яйцо тухлое. Это я к тому, чтобы вы знали, что за человека мой коллега Мусил.

Однажды перед рождеством он решил поехать кататься на лыжах в Крконоши, и так как ему надо было еще что‑то купить, то он сказал, что вернется позднее попрощаться с нами. Тем временем к нам заглянул доктор Мандел, знаете, известный публицист, тоже большой чудак, и говорит, что ему необходимо потолковать с паном Мусилом.

— Мусила нет, — говорю я, — но, вероятно, он еще зайдет сюда перед отъездом; подождите.

Доктор Мандел выразил досаду.

— Ждать я не могу, — сказал он, — но я напишу ему записочку о том, зачем он мне нужен.

Тут он сел за стол и начал писать.

Не знаю, видел ли кто‑нибудь из вас более неразборчивый почерк, чем почерк доктора Мандела. Он похож на запись сейсмографа — такая длинная прерывистая линия, которая местами то вдруг пойдет мелкой дрожью, то резко подскочит. Я‑то почерк Мандела знал хорошо и просто смотрел, как его рука скользит по бумаге. Вдруг доктор Мандел нахмурился, нетерпеливо скомкал бумагу, бросил в корзину и встал.

— Нет, слишком долго писать, — пробормотал он — и был таков.

Сами понимаете, в канун рождества не хочется заниматься серьезной работой; и вот я сел за стол и начал выводить на листке сейсмографические кривые: длинные ломаные линии, которые то резко подпрыгивали, то стремительно падали, следуя только моей прихоти. Поразвлекавшись таким образом, я положил листок на стол Мусилу. И тут как раз он вбежал, уже в спортивном костюме, с лыжами и палками на плече.

— Ну, я поехал! — радостно крикнул он еще с порога.

— Тут приходил какой‑то господин, спрашивал вас, — невозмутимо сообщил я ему. — Он оставил вам письмо, по его словам, важное.

— Где оно? — живо отозвался Мусил. — Ну и ну, — он слегка смутился при виде моего творения. — Это от доктора Мандела, что же он от меня хочет?

— Не знаю, — проворчал я неприветливо, — он очень спешил; но, знаете, не хотел бы я расшифровывать его почерк.

— Я его закорючки умею читать, — заявил Мусил легкомысленно, поставил лыжи с палками в угол и сел за стол.

— Гм, — произнес он через минуту, став чрезвычайно серьезным.

Полчаса прошло в гробовом молчании.

— Так, первые два слова есть! — вздохнул наконец Мусил, вставая. — Они означают: «Дорогой коллега». Но теперь мне пора бежать на станцию. Я эту записку возьму с собой и расшифрую ее в дороге, чего бы мне это ни стоило.

После Нового года он вернулся с гор.

— Ну, как вы провели время? — спрашиваю. — Сейчас, наверно, в горах красота, не правда ли?



Он только рукой махнул:

— Даже не знаю! Признаюсь, я все время просидел, не высовывая носа на улицу, в номере гостиницы; но все говорили, что там великолепно.

— В чем же дело? — спросил я участливо. — Вы болели?

— Да нет, — ответил Мусил с напускной скромностью, — я все время расшифровывал письмо Мандела; и если хотите знать, я его все‑таки расшифровал! — Заявил он победоносно. — Только два‑три слова не смог прочесть. Я бился над ним все дни и ночи, но я твердо решил расшифровать его, и я это сделал.

У меня не хватило духу сказать ему, что записка — всего лишь мои досужие упражнения.

— А записка была такой уж серьезной? — спросил я с участием. — Стоила она, по крайней мере, такого труда?

— Это не важно, — гордо ответил Мусил, — меня это интересовало скорее как графологическая проблема. Доктор Мандел просит меня написать за две недели статью в его журнал, но вот о чем, — этого я как раз и не смог разобрать; затем он желает мне весело провести праздники и хорошенько отдохнуть в горах. В общем, пустяки; зато разрешение этой проблемы, сударь, было твердым методологическим орешком и незаменимой тренировкой для ума. Ради этого стоило провести несколько бессонных ночей.

###### \* \* \*

— Вы не должны были так поступать, — заметил укоризненно пан Паулюс. — Черт с ними с несколькими днями, но жаль бессонных ночей. Сон, сударь мой, не только отдых для тела; сон — это вроде очищения и прощения за прошедший день. Сон — особая милость; и первые несколько минут после хорошего сна всякая душа чиста и невинна, как дитя.

Я это знаю, потому что было время, когда я лишился сна. Вероятно, это было следствием беспорядочной жизни, или что‑то во мне разладилось, не могу сказать, — но стоило мне лечь в постель и ощутить под веками первое щекотание сонливости, во мне что‑то как бы щелкало, и я часами лежал и таращился в темноту, пока не начинало светать. Я мучился год — год без сна.

Когда вот так не можешь уснуть, сначала стараешься ни о чем не думать: поэтому начинаешь считать или молиться. И вдруг всплывает мысль: боже мой, вчера я забыл сделать то‑то и то‑то! Потом приходит в голову, что, кажется, тебя надули в лавочке, когда ты расплачивался. Затем вспомнишь, что жена или приятель намедни ответили тебе как‑то странно. Тут в доме что‑то скрипнет, и ты думаешь, что это вор, и тебя бросает в жар от страха. Но как только поддаешься страху, то начинаешь анализировать свое физическое состояние и, взмокнув от ужаса, вспоминаешь, что тебе известно о нефрите или о раке. Без всякого повода вдруг мелькнет воспоминание о постыдной глупости, которую ты совершил двадцать лет назад, но тебя и сейчас еще прошибает пот уже от стыда. Слово за словом ведешь ты очную ставку с этим странным, неотвязным и неискупленным «я»; со своей слабостью, собственной грубостью и мерзостью, с недугами и обидами, глупостями, конфузами и страданиями, давно отошедшими в прошлое. И возвращается к тебе все мучительное, болезненное и унизительное, что ты когда‑либо испытал; нет пощады тому, кто не может спать. Весь твой мир искажается и обретает тягостную перспективу; дела, о которых ты только‑только забыл, ухмыляются тебе, словно говоря: болван, хорошо же ты тогда поступил; а помнишь, как твоя первая любовь, когда тебе было четырнадцать лет, не пришла на свидание. Так вот знай: она тогда целовалась с другим, с твоим приятелем Войтой, и они смеялись над тобой! Эх ты, дурень, дурень, дурень! — И ты ворочаешься в жаркой постели и хочешь уговорить себя: черт возьми, да мне до этого давно нет дела! Что было, то сплыло, и точка. А я скажу вам, это не так. Все, что было, — есть. Продолжает существовать даже то, что ты уже не помнишь. Я считаю, что память живет и после смерти.

Вы, друзья, меня немного знаете. Знаете, что я не бука и не ипохондрик, не какой‑нибудь бирюк, нытик, брюзга, недотрога, ворчун, кисейная барышня, нелюдим и пессимист. Я люблю жизнь и людей, и самого себя, берусь за все сплеча, люблю помериться силами с трудностями, — короче, толстокож, как оно и подобает мужчине. Но когда я лишился сна, днем я мотался напропалую, знай поворачивался, спешил от задачи к задаче; вы знаете, я пользуюсь счастливой репутацией весьма деятельного человека. Но едва ночью я ложился в постель и начиналась бессонница, как жизнь моя раздваивалась. Там была жизнь дельного, удачливого, самоуверенного и здорового человека, у которого все спорится благодаря энергии, смекалке и бессовестному везению. Здесь, в постели, лежал человек затравленный, который со страхом осознавал свои неудачи, позор, непорядочность и все, что было унизительного в его жизни. Я жил двумя жизнями, которые почти не соприкасались и были до ужаса не похожи одна на другую. Дневная — складывавшаяся из успехов, деятельности, взаимоотношений с людьми и доверия, из забавных препятствий и вполне нормальных чудачеств, — жизнь, в которой я по‑своему был счастлив и доволен собой. Но ночам развертывалась другая жизнь, сотканная из боли и растерянности: жизнь человека, которому ни в чем не везет; человека, которого все предали и который сам относился к людям глупо, малодушно и скверно; человека, разочарованного во всем, трагической марионетки, которую все ненавидят и обманывают; человека слабого, который все проиграл и, шатаясь, бредет от позора к позору. Каждая из этих жизней была сама по себе последовательной, связной и цельной; когда я пребывал в одной из них, мне казалось, что другая жизнь принадлежит кому‑то еще, что она меня не касается или что она лишь мнится; что она — самообман и болезненная иллюзия. Днем я любил, ночью подозревал и ненавидел. Днем я жил жизнью, обычной для нас, людей; ночью я жил самим собой. Кто думает о себе, теряет мир.

И вот мне кажется, что сон — это как бы темная и глубокая вода. Она уносит все, о чем мы не знаем и не должны знать. Странный осадок печали, который образуется в нас, вымывается и уплывает в это безбрежное море подсознания. Наши дурные и трусливые поступки, все наши обыденные и постыдные грехи, унижающие нас глупости и неудачи, секунды лжи и нелюбви, все то, в чем провинились мы, и то, в чем другие виноваты перед нами, — все это тихонько утекает куда‑то за пределы сознания. Сон безгранично милосерден: он прощает нас и виновных перед нами.

И вот я скажу вам: то, что мы называем нашей жизнью, — еще не все, что нами прожито, — это лишь часть жизни. Того, чем мы живем, слишком много, больше, чем способен вобрать наш разум. Поэтому мы лишь отбираем то или другое, что нам подходит, и кое‑как сплетаем из отобранного упрощенное действо; и это сплетение мы называем жизнью. Но сколько мы при этом оставляем в стороне, сколько обходим странных и страшных вещей, боже ты мой! Если бы люди осознали это! Но мы способны жить лишь одной упрощенной жизнью. Прожить и пережить больше было бы свыше наших сил. У нас не достало бы мочи вынести жизнь, если бы большую часть ее мы не теряли по дороге.